



СЛЕПАЯ ЛУНА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

Ульяна Соболева

Волчья метка.

Слепая луна (Книга 1)

<https://litres.ru/74219042>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня тащили как падаль.

Не за руку. Не под локоть. За веревку на запястьях - грубую, плетеную, воняющую мокрой псиной и чем-то металлическим. Кровью. Чужой кровью. Веревка врезалась так глубоко, что я перестала чувствовать пальцы после первой сотни шагов.

Я считала.

Сто двенадцать. Сто тринадцать. Сто четырнадцать.

Это единственное, что у меня осталось. Числа. Шаги. Ритм. Пока я считаю - я не кричу. Пока я не кричу - я существую. Пока я существую - они не выиграли. Не знаю, кто «они». Не знаю, куда ведут. Не знаю, зачем я еще жива, если все, кого я слышала в деревне, уже мертвы.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	17
Глава 3	31
Глава 4	45
Глава 5	58
Глава 6	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Ульяна Соболева

Волчья метка.

Слепая луна (Книга 1)

Глава 1

Меня тащили как падаль.

Не за руку. Не под локоть. За веревку на запястьях - грубую, плетеную, воняющую мокрой псиной и чем-то металлическим. Кровью. Чужой кровью. Веревка врезалась так глубоко, что я перестала чувствовать пальцы после первой сотни шагов.

Я считала.

Сто двенадцать. Сто тринадцать. Сто четырнадцать.

Это единственное, что у меня осталось. Числа. Шаги. Ритм. Пока я считаю - я не кричу. Пока я не кричу - я существую. Пока я существую - они не выиграли. Не знаю, кто «они». Не знаю, куда ведут. Не знаю, зачем я еще жива, если все, кого я слышала в деревне, уже мертвы.

Крик Матильды оборвался на полуслове. Хруст. Мокрый, тяжелый, как когда ломают дыню о камень. Я стояла в погребке и слушала, как умирает моя соседка. Потом - тишина. Потом - детский визг, тонкий, на одной ноте, как свисток.

Ян. Ее сын. Пять лет. Визг оборвался тоже.

Я слышала все. Каждый звук. Каждый хрип. Каждый хруст. Темнота не защищает от звуков. Темнота - усилитель. Когда не видишь - слышишь в десять раз громче, в десять раз подробнее, в десять раз страшнее.

Сто сорок один.

Под босыми ногами сначала была трава - влажная, холодная, знакомая. Та самая трава, по которой я ходила каждое утро к колодцу: семнадцать шагов от двери, поворот у камня, еще девять. Потом камни. Потом что-то хрустящее, ломкое, и я подумала: ветки. А потом поняла, что ветки не хрустят так. Ветки не пружинят. Кости пружинят. Я шла по костям, и мой желудок сжался в горячий узел где-то под ребрами, и я чуть не рухнула на колени, но веревка дернулась вперед - резко, зло - и я пошла дальше.

По костям.

Считая шаги.

Двести три.

Вокруг дышали. Не как люди - тяжелее, гуще, с хрипом на выдохе, от которого вибрировал воздух. Я слышала минимум восьмерых. Их ноги - не ноги, лапы? - ступали гулко, вминая землю. Запах стоял такой, что у меня слезились глаза, хотя мои глаза давно не видят ни слезинки, ни света, ничего. Muskus. Мокрая шерсть. Пот. И что-то еще - теплое, звериное, первобытное. Так пахнет хищник, когда он сыт и ему некуда торопиться.

Они не торопились.

Зачем торопиться, когда добыча на веревке?

Двести пятьдесят восемь.

Тот, кто держал мою веревку, был ближе остальных. Я чувствовала жар его тела - неестественный, как от печки. От людей так не пышет. Люди - теплые. Этот - раскаленный. Каждый раз, когда он дергал веревку, меня обдавало волной запаха: сосновая смола, раскаленное железо и что-то, от чего сводило скулы. Как если бы кто-то поджег старый мех.

Я не знала, кто он.

Я знала только его шаги: тяжелые, размеренные, на четыре счета длиннее моих. Огромный. Я доставала ему, наверное, до пояса. Может, до груди. Не знаю. Мне хватало звука: каждый его шаг вминал землю с глухим утробным «тумм», от которого дрожали камни под моими ступнями.

Триста два.

Кто-то рядом заговорил - на языке, от которого у меня встали волосы на загривке. Не слова - звуки. Рычание, переходящее в гортанные щелчки, что-то похожее на карканье, только ниже, утробнее. Голос был молодой, звонкий, с подвыванием на концах фраз. Я уже слышала его - там, в деревне. Когда горело. Он стоял надо мной и говорил кому-то: я не понимала слов, но тон был будничным, скучающий. Как будто решал - выбросить или нести дальше. А потом - тот другой голос. Каменный. Одно слово. И все замолкло.

Молодой голос снова что-то сказал. Интонация - насмеш-

ка. Издевка. Он говорил обо мне. Я не понимала слов, но понимала тон. Тон - универсальный язык. Тон говорил: она мусор. Она - ничего. Зачем мы ее тащим?

Хороший вопрос. Я бы тоже хотела знать.

Триста шестьдесят.

Земля изменилась. Под ногами стало горячо - не теплая почва, а жар, идущий снизу, из-под камней, как будто где-то под нами тлело. Воздух загустел, стал сухим, едким, с привкусом серы на языке. Я задохнулась. Закашлялась. Веревка дернулась - «иди». Я пошла. Ступни горели. Кожа на подошвах натянулась, вспухла, лопнула. Каждый шаг - как по углям.

Мертвая полоса. Марта рассказывала - старая Марта из крайнего дома, которая пережила три набега и потеряла всех сыновей. Она говорила: между нашим миром и их миром есть место, где земля горит. Где ничего не растет. Где воздух пахнет адом. Я думала, она пугает. Старухи любят пугать. Сидят у очага, мнут беззубыми ртами пустые истории, лишь бы дети не бегали к лесу.

Марта не пугала.

Четыреста двенадцать.

Я упала. Колени ударились о камень. Острый. Горячий. Кожу содрало сразу - я почувствовала, как потекло по голени, теплое и липкое. Кровь. Моя кровь. Вокруг - мгновенная тишина. Потом - звук: глубокий, утробный вдох. Восемь вдохов одновременно. Они почуяли. Кровь.

Я ощутила это кожей - их внимание. Как давление. Как жар. Как волну, которая накатывает перед штормом. Восемь тел развернулись ко мне - я почувствовала это кожей: смещение воздуха, волны жара, восемь дыханий, направленных в одну точку. В мое колено. В кровь. Воздух задрожал от еле слышного рычания - низкого, голодного, на грани слуха. Того самого, который ты чувствуешь не ушами - затылком. Позвоночником.

Кто-то зарычал громче. Шаг ко мне. Еще один. Жар чужого дыхания на шее. Запах гнилых зубов и слюны. Я сжалась. Мышцы свело. Позвоночник стал ледяным стержнем. Вот оно. Вот и все. Четыреста двенадцать шагов от моей деревни - и конец.

Удар.

Не в меня - рядом. Звук тела, врезающегося в камень. Хруст. Скулеж - тонкий, жалкий, собачий, срывающийся на визг. И - тишина. Та самая тишина, которая наступала каждый раз, когда говорил ОН.

Он не заговорил.

Он поднял меня. Одной рукой. За шиворот, как кутенка. Оторвал от земли так, что мои ноги болтались в воздухе, и на секунду я повисла в его хватке - маленькая, легкая, невесомая. Мусор. Вещь. Его пальцы - каждый толщиной с мою руку - сомкнулись на ткани рубашки, и ткань затрещала. Он поставил меня. На ноги. Как предмет. Как горшок на полку. Поставил и отпустил.

Его ладонь скользнула по моему плечу. Случайно? Нет. Ничего у этих существ не бывает случайно. Ладонь - горячая, шершавая, огромная. Она накрыла мое плечо целиком, от ключицы до начала руки. Одна ладонь. Я - маленькая. Он - нет.

Мурашки прошли по позвоночнику. Не от страха. От чего-то другого. Чего-то, чему нет слова, когда ты стоишь в темноте, слепая, с содранными ногами и кровью на коленях, и единственное, что ты чувствуешь - чужую руку, которая только что спасла тебе жизнь. Или отсрочила смерть. Одно из двух.

Я пошла дальше.

Четыреста тринадцать.

Воду мне дали один раз. Кожаный мешок, прижатый к губам чьей-то рукой - когтистой, грубой. Вода пахла кровью. Тухлой, застоявшейся, такой густой, что привкус лег на язык и не смывался. Я отвернулась. Рука надавила сильнее. Кожаный край врезался в зубы. Я сделала глоток. Мой желудок дрогнул, поднялся к горлу, но я сглотнула. Еще глоток. И еще. Потому что я знала - если не пить сейчас, через час буду лизать камни. Гордость - плохой заменитель воды. Гордость не утоляет жажду. Не заживляет раны. Не спасает от смерти. Гордость - это роскошь для тех, у кого есть выбор. У меня - нет.

Кто-то засмеялся. Тот же молодой голос. Рычащий смех, от которого у меня заныли зубы.

Я вытерла рот тыльной стороной связанных рук. Выпрямилась. Пошла.

Пятьсот двадцать.

Время перестало существовать. Я не знала, день сейчас или ночь. Когда ты слепая - разница только в температуре воздуха. А здесь, в этих землях, температура врала. Жар шел отовсюду - снизу, с боков, иногда сверху, как будто солнце спустилось и дышало мне в макушку. Потом - резко - холод. Ледяной ветер, от которого треснули губы за секунду, и кровь выступила на них, соленая, своя. Я дрожала так, что зубы стучали, и звук этот был унижительный, маленький, жалкий, и мне хотелось сжать челюсти, но тело не слушалось. Тело давно не слушалось. Тело шло, потому что веревка тянула, и все.

Мы шли. Час. Или день. Или вечность.

Я потеряла счет после семисот сорока.

Просто шла.

Босые ноги оставляли кровавые следы на камнях - я чувствовала, как кожа расходится, как мелкие камешки впиваются в мясо. Правая ступня онемела полностью - наступала, как на деревяшку. Левая - горела. Каждый шаг - удар электричества от пятки до бедра. Я должна была чувствовать боль. Наверное, чувствовала. Но она ушла куда-то вглубь, свернулась горячим клубком под ребрами и затихла. Тело работало на автомате: нога, нога, нога. Вдох, выдох. Веревка тянет - иди. Веревка дергает - быстрее. Не думай. Не чув-

ствуй. Считай.

Где-то на пятый или шестой час я споткнулась обо что-то мягкое. Упала на руки. Ладони вошли во что-то влажное, холодное, податливое. Я ощупала.

Лицо.

Человеческое лицо. Открытый рот. Зубы - мелкие, ровные. Женские. Закрытые глаза. Кожа - ледяная. Нос - сломанный, вдавленный вовнутрь. Скула - острый обломок кости под тонкой кожей. Женщина. Мертвая. Молодая. Может, моего возраста. Может, из моей деревни.

Меня вывернуло.

Я стояла на четвереньках над мертвым телом, и меня выворачивало водой с кровью - той самой, из кожаного мешка - и желчью, и пустотой, и ужасом, который наконец прорвался наружу. Не через крик - через тело. Спазмы шли волнами, скручивали живот, ребра, горло. Я хрипела. Давилась. По подбородку текло горячее. Кто-то рядом фыркнул - презрительно, по-звериному. Мусор. Она - мусор.

Веревка дернулась.

Я встала. Вытерла рот. Пошла.

Не потому что смелая. Не потому что сильная. Потому что остановиться - значит лечь рядом с ней. С лицом. С открытым ртом. С вмятиной вместо носа. Я не хотела лежать рядом. Еще нет. Еще не сейчас. Еще чуть-чуть - иди, считай, дыши, не думай, не думай, не думай о ее зубах под твоими пальцами.

Я шла, и темнота вокруг была привычной. Моей. Я жила в ней одиннадцать лет - с тех пор, как лихорадка забрала свет. Последнее, что я видела - закат над озером. Оранжевый. Он горел, и я думала: как красиво. А потом мир погас. Навсегда. Темнота - не враг. Темнота - это дом. Единственный дом, который у меня остался после того, как они сожгли настоящий.

Воздух изменился. Стал другим - тяжелым, влажным, с привкусом камня и дыма. Звуки изменились тоже: наши шаги начали отражаться от стен. Мы вошли куда-то. Внутрь. Каменные стены - я чувствовала их давление, их холод. Потолок - низкий; воздух прижимался сверху, и мне стало труднее дышать. Эхо шагов множилось, ломалось, возвращалось чужими голосами.

Крепость.

Запахи обрушились стеной: прогорклый жир, звериная шерсть, старое мясо, дым, пот, моча, кровь - свежая и засохшая, сладковатая и железная. И подо всем этим - камень. Древний, промерзший, пропитанный тысячелетиями чужих жизней. Чужих смертей.

Меня толкнули вперед. Я упала на колени - снова. Камень - ледяной. Мокрый. Колени уже были ободраны, и холод вошел в раны как игла - тонко, глубоко, до кости. Я стиснула зубы так, что заныла челюсть. Не закричала. Не заплакала. Я вообще не плакала с семи лет. Слезы - это для тех, кто видит. Для тех, кому есть кого разжалобить. У слепых слезы не работают. Никто не смотрит на то, чего не существует. А я

для них - не существовала.

Голоса. Много голосов. Рычание. Щелчки. Лай. Тот молодой - ближе остальных - говорил быстро, возбужденно, захлебываясь словами, как щенок, который притащил палку и ждет похвалы. Я была добычей, и он нес меня как трофей. Смешно. Трофей - слепая девчонка с ободранными ступнями и рвотой на подбородке. Самый жалкий трофей в истории набегов.

Потом - тишина. Та самая. Его.

Шаги. Тяжелые. Каждый - «тумм» по камню. Он шел мимо меня. Я почувствовала волну жара - он прошел так близко, что его одежда коснулась моего плеча. Кожа. Грубая, пахнущая зверем и смолой.

Он остановился. Рядом. Надо мной.

Мне казалось, что воздух вокруг него гуще. Плотнее. Как будто его тело притягивало все - звуки, запахи, тепло, сам кислород. Как будто мир прогибался вокруг него, и я - на коленях - была в самом центре этой воронки.

Молодой голос что-то сказал. Интонация - вопрос. Куда ее? Что с ней?

Тишина. Секунда. Две.

Ответ. Одно слово. Низкое, короткое, как камень, брошенный в колодезь.

Меня подняли - другие руки, грубее, мельче - и поволокли. Вниз. По ступеням. Двадцать три ступени - я считала, хотя ноги подкашивались. Коридор. Тридцать один шаг. Пово-

рот направо. Четырнадцать шагов. Воздух стал теплее - кухня. Я почувствовала: жар очага, запах вареного мяса, горький чад.

Меня бросили на что-то - тюфяк. Жесткий, провонявший плесенью и старой соломой и чем-то кислым, животным. Чья-то жизнь до меня. Чья-то смерть до меня.

Веревку не сняли.

Шаги ушли. Стихли. Тишина.

Я лежала.

Тюфяк пах плесенью и чужим отчаянием. Камень вокруг пах вечностью. Воздух пах жиром и кровью. Мои руки пахли веревкой и чужой смертью. И - его запах. На моем плече. Там, где легла его ладонь. Сосновая смола. Раскаленное железо. Зверь.

Я не плакала.

Лежала на тюфяке в каменном мешке, в крепости, вырубленной в горе, в сердце Волчьих земель, куда ни один человек не заходил добровольно и откуда ни один не возвращался. Мои ноги были разодраны до мяса. Колени содраны до кости. Запястья - бордовые жгуты под веревкой, пульсирующие чужим ритмом. Я не знала, какой сейчас день. Не знала, сколько прошло времени. Не знала, жив ли кто-то из деревни. Не знала, доживу ли до утра.

Знала одно.

Семьсот сорок шагов до Мертвой полосы. Потом - сбилась. Потом - ступени вниз. Двадцать три. Коридор. Трид-

цать один шаг. Поворот направо. Четырнадцать. Кухня.

Знала карту. Знала путь. Знала расстояния.

Не потому что планировала бежать. Бежать слепой через Волчьи земли - верная смерть. Быстрая, если повезет. Медленная и зубастая, если нет.

Я считала шаги, потому что числа - это контроль. Контроль - это «я существую». «Я существую» - это «они не выиграли». Не знаю, кто «они». Не знаю, что значит «выиграть». Но пока есть числа - есть я. Пока есть я - есть смысл вдохнуть еще раз. И еще. И еще.

Я закрыла глаза. Не потому что устала. Потому что с закрытыми и открытыми - одинаково. Темнота. Моя. Привычная. Единственная вещь, которую не сожгли, не отняли, не выдрали с мясом.

И в этой темноте - его запах. Сосновая смола. Раскаленное железо. Мокрая шерсть.

Запах того, кто решил, что я буду жить.

Я не знала его имени. Не знала его лица. Не знала, зверь он или человек, или что-то третье, чему нет названия в языке, который я знаю.

Но я знала его шаги. Четыре счета длиннее моих. «Тумм-тумм-тумм». Знала его руку - ладонь, которая накрыла мое плечо целиком и от которой до сих пор горела кожа. Знала его голос - одно слово, от которого замолкало все живое в радиусе, который я не могла измерить.

И знала, что он придет снова.

Не знаю откуда. Не знаю зачем. Но кожа помнила его жар, и мурашки вдоль позвоночника не проходили, и сердце колотилось не от страха - от чего-то другого, темного, незнакомого, от чего пересыхало во рту и ломило ребра. Что-то внутри меня - глубже страха, глубже боли, глубже стыда, где-то в самом дне, в том месте, где хранятся вещи, которые нельзя сжечь, нельзя сломать, нельзя убить, - что-то внутри меня ждало.

Семьсот сорок шагов от дома.

Двадцать три ступени вниз.

Один тюфяк.

И запах зверя на моей коже.

Глава 2

Добыча была дерьмовой.

Утренний свет едва пробивался сквозь узкие бойницы Каменного Гнезда, и крепость тонула в сизом сумраке, пропитанном дымом очагов, запахом прогорклого жира и звериного пота, который въелся в эти стены за тысячелетия, как ржавчина в железо. Камень дышал холодом и сыростью - древний, промерзший до костей, живой по-своему, как бывают живы горы, которые помнят времена, когда на земле не ходило ничего двуногого.

Я стоял на верхней галерее и смотрел вниз, на двор, где Фенрир раскладывал трофеи, как щенок, впервые притащивший дохлую крысу. Гордый. Сияющий. Хвост бы вилял, если б был в шкуре. Мне хотелось спуститься и выбить ему зубы - просто чтобы перестал скалиться.

Семь рабов. Четыре мужика - двое хромых, один с раздробленным плечом, последний трясся так, что зубы клацали. Пользы от них - как от дохлого зайца: вони больше, чем мяса. Три бабы - молодые, грязные, с пустыми глазами. Скот: шесть тощих овец, которые даже на жаркое не тянули. Мешки с мукой. Горшки. Какое-то тряпье.

Деревня на двадцать домов, а нажива - на одну вечернюю кормежку.

Я сплюнул. Кислая слюна ударила о камень тремя этажа-

ми ниже. Один из рабов вздрогнул. Задрал голову. Увидел меня - и отвернулся так быстро, что чуть шею не свернул. Правильно. Не смотри. Не смотри на меня, мясо. Тебе же лучше.

Фенрир внизу разглагольствовал. Я слышал каждое слово - мое тело проклятое, человеческое, ублюдочное, но слух остался волчьим. Частично. Достаточно, чтобы разбирать шепот через три стены и слышать, как бьется сердце лжеца.

- Хороший набег, - заливал Фенрир Клыкам. - Чистая работа. Ни одного потерянного.

Чистая работа. Я видел кровь на его морде, когда они вернулись. Не человеческую - свою. Кто-то из деревенских приложил его хорошо. Камнем, судя по ссадине на скуле. Фенрир гордился набегом, в котором ему разбил рожу безоружный крестьянин. Герой, блядь. Будущий вожак, как он сам себе нашептывает по ночам, когда думает, что я не слышу.

Я слышу все.

Это проклятие. Одно из многих.

Тело болело. Оно болело всегда - каждое утро, каждый вечер, каждую гребаную секунду между ними. Человеческая кожа жала, как одежда на три размера меньше. Кости не помещались правильно: слишком длинные для этой рамы, слишком тяжелые для этих суставов. Плечи ныли. Позвоночник хрустел при каждом повороте. Челюсть сводило - мышцы помнили пасть, которой больше нет, и пытались раздвинуть кости, которые не раздвигались.

Каждый день - так. Тысячу лет - так.

Привыкнуть нельзя. Можно только перестать обращать внимание. Как привыкают к вони: она никуда не девается, просто мозг перестает ее замечать. Боль никуда не девается тоже. Она здесь. Всегда. Фоном. Как дыхание. Как этот ебучий каменный потолок, который давит на череп каждый раз, когда я захожу в свою комнату.

Я развернулся. Пошел вниз. Ступени - узкие, вырубленные в скале, стертые тысячами лап и ног за столетия. Мои шаги отдавались гулом. Я слышал, как внизу замолкали разговоры. Один за другим. Как свечи тушат - пфф, пфф, пфф. Тишина расплзалась передо мной, и я шел в нее, как в воду.

Так было всегда. Тишина - единственное, что мне давали с радостью.

Двор.

Фенрир вытянулся. Клыки опустили головы. Рабы вжались в землю - кроме одного, который уже лежал без сознания. Овцы блеяли. Овцы - единственные, кому было насрать на иерархию.

Я прошел вдоль добычи. Медленно. Это не было осмотром - я знал, что там, по запаху. Знал за три этажа. Мужики воняли мочой и ужасом. Бабы - кровью и потом. Овцы - овцами. Мука была сырой, горшки - дешевым дерьмом, тряпье годилось только на подстилку.

И среди всего этого - она.

Как белое пятно на черной шкуре. Как осколок льда в

грязной луже. Что-то, чего здесь быть не должно, что-то настолько неуместное, что глаз цеплялся и не мог отпустить.

Я остановился. Не потому что хотел. Ноги остановились сами, а я стоял и пытался понять, какого хрена.

Маленькая, как подросток, как птенец, выпавший из гнезда на камни. Грязная - копоть, засохшая земля, чужая кровь на воротах рубахи. Худая до прозрачности, ребра торчали сквозь рваную ткань, как прутья клетки, в которой нечего держать. Волосы - тусклые, спутанные, цвета мокрой соломы. Босая. Ступни содраны до мяса, и кровь засохла коркой на камне вокруг нее. Руки связаны. Запястья - бордовые, вздувшиеся, с впечатанным рисунком веревки.

Глаза.

Она подняла лицо. Не на меня - мимо. На два пальца левее. Светло-серые глаза. Почти белые. Зрачки - неподвижные. Мертвые. Она не видела ни хрена. Слепая.

Я смотрел на нее. Она смотрела сквозь меня. И ее лицо - грязное, с засохшей рвотой на подбородке, с ободранной скулой - ее лицо было спокойным. Не пустым, как у тех баб в ошейниках. Не мертвым, как у мужика без сознания. Спокойным. Как поверхность озера в безветрие.

Она не тряслась. Не скулила. Не пыталась отползти. Стояла на коленях, с содранными ступнями, со связанными руками, и была спокойна.

Это было неправильно.

Люди не бывают спокойными рядом со мной. Люди блю-

ют, мочатся, теряют сознание, кричат, ползают, молят. Это нормально. Это правильно. Я - то, от чего бегут. Я - то, чем пугают детей. Я - Вожак Первой стаи, и от одного моего запаха у человеческих самцов подкашиваются ноги.

А эта стояла на коленях и была спокойна.

Фенрир подошел. Я слышал его сердцебиение - частое, дробное, щенячье. Он нервничал. Всегда нервничал рядом со мной. Хорошо. Пусть нервничает.

- Слепая, - сказал он на нашем языке. Скривился. - Бесполезная. Кинем в общую яму? Или прирезать? Она жрать будет, а толку ноль. Ни работать, ни...

Он не договорил. Не потому что я его остановил. Потому что она повернула голову. На его голос. Точно. Как будто видела. И на ее лице - на грязном, разбитом, спокойном лице - промелькнуло что-то. Не страх. Не мольба. Внимание. Она слушала. И я готов был поклясться шкурой, которой у меня больше нет, - она понимала. Не слова. Интонацию. Тон. Она знала, что говорят о ней. И знала, что решают - жить ей или нет.

И не дрогнула.

- На кухню, - сказал я.

Фенрир повернулся. Медные глаза - удивленные, щенячьи.

- На кухню? Зачем? Она даже полы нормально не вымоет, эта...

Я посмотрел на него. Просто посмотрел. Не рычал. Не

скалится. Просто - глаза в глаза. Этого хватило. Фенрир дернул кадыком. Отвел взгляд. Кивнул.

- На кухню. Понял.

Ее уволокли. Я стоял во дворе и смотрел, как ее тащат по ступеням вниз, и она не кричала, не упиралась, и ее содранные ноги оставляли бурые полосы на камне. Маленькая. Легкая. Ничего. Пыль. Мусор.

Я не знал, зачем сказал "на кухню". Мог сказать "в яму". Мог сказать "прирезать". Мог вообще ничего не говорить - Фенрир бы распорядился сам, и утром о ней бы никто не вспомнил.

На кухню.

Какого хрена.

Раздал приказы. Мужиков - в шахту. Баб - в прачечную. Муку - в хранилище. Овец забить к вечеру. Рутину. Слова выходили из меня, как камни из катапульты - тяжелые, точные, без лишнего. Я не разговаривал. Я командовал. Разница в том, что команды не требуют ответа.

Клык - старый воин, седая полоса через всю морду, когда в шкуре, и рваный шрам от уха до подбородка, когда в коже - подошел. Встал рядом. Молча. Клык умел молчать правильно - не как Фенрир, который молчал, когда придумывал очередную дрянь, а по-настоящему. Уважительно. Он был со мной триста лет. Не потому что любил. Потому что понимал: без вожака стая - стадо. А стадо жрут.

- Тот набег, - сказал он. Голос низкий, с хрипотцой. Три

столетия рычания на морозе. - Маловато.

- Маловато, - согласился я.

- Людишки голодают. Деревни тощие. Скоро брать будет нечего.

Я промолчал. Он был прав. Люди плодились медленно идохли быстро. Особенно рядом с нашими территориями. Те, кто поумнее, давно ушли на юг. Остались тупые, нищие, упрямые. Цеплялись за свои деревни, как клещи за шкуру. Жили впроголодь. Молились каким-то своим богам, которые ни разу не ответили. Рожали детей, которых мы забирали. Строили дома, которые мы сжигали.

Тысяча лет - одно и то же. Набег. Добыча. Жратва. Набег. Добыча. Жратва. Круг, который никуда не ведет. Я гонял стаю по этому кругу, как пастух - овец, и единственная разница между мной и пастухом была в том, что пастух знает, зачем.

Я - не знал.

Ушел к себе. Поднимался по лестнице, и с каждой ступенью воздух становился холоднее и тише, как будто крепость прижимала палец к губам - тишшш, Вожак идет наверх, Вожак хочет побыть один, не дышите. Моя комната - верхний ярус, вырубленная в скале нора. Узкая. Темная. Потолок - низкий, я задевал его макушкой, если выпрямлялся. Из мебели - каменная лежанка, шкуры, бочка с водой. Ни свечей, ни факелов. Мне не нужен свет - глаза видят в темноте так же, как днем. Лучше, чем днем. Звериное зрение, оставшее-

ся в человеческом теле, - единственный подарок от проклятья, если не считать слуха.

Я содрал рубаху. Швырнул в угол. Кожа на ребрах натянулась, захрустела. Больно. Суставы щелкнули - плечо, локоть, три позвонка. Каждый вечер одно и то же. Раздеваюсь и слушаю, как это тело разваливается. Как старый дом, в котором живешь не потому что хочешь, а потому что другого нет.

Железный обруч на левом запястье блеснул в темноте. Оковы ритуала. Память о том дне, когда Ворг - костлявая тварь с черными глазами - вскрыл мне лицо от виска до рта и произнес Слова, от которых мой волк взвыл, дернулся, свернулся в клубок где-то в основании черепа - и замолк. Навсегда. Я помнил этот момент. Каждый день помнил. Как волк уходил из тела, как мышцы сжимались, выталкивая зверя, как кости хрустели, перестраиваясь в эту уродливую, неповоротливую, двуногую конструкцию. Как я упал на колени и заорал - впервые человеческим голосом. И голос был тонкий, жалкий, ничтожный. Голос щенка, а не вожака.

Обруч не снимался. Я пробовал. Мечом, зубилом, камнем. Пробовал отгрызть руку - зубы соскользнули, железо даже не треснуло. Ворг знал свое дело. Тварь.

Обруч оставался. Как шрам. Как боль. Как это тело.

Подошел к стене. Уперся лбом в камень. Холодный. Мокрый. Хорошо. Холод глушил боль. Ненадолго.

Снаружи - вой. Стая ужинала, делила добычу, грызлась из-за лучших кусков. Я слышал каждый рык, каждый щел-

чок челюстей. Они были внизу, в Круге - пятнадцать волков, и каждый мог обратиться, когда хотел. Меха, клыки, лапы, хвост. Свобода. Они жрали мясо в волчьих шкурах и выли от радости, и я стоял здесь, наверху, в своей каменной норе, в этой мясной оболочке, и слушал.

Кулак врезался в стену раньше, чем я успел подумать.

Камень треснул. Костяшки - тоже. Кровь потекла по пальцам, горячая. Боль - яркая, чистая, настоящая. На секунду стало легче. На одну гребаную секунду. Потом боль стала тупой, привычной, слилась с фоновой, и стало так же, как было.

Хуево. Как всегда.

Я сел на лежанку. Шкуры пахли мной - мускусом, потом, старой кровью. Мой запах. Единственное, что осталось от настоящего меня. Тело - чужое. Голос - чужой. Руки - чужие. Но запах - мой. Волчий. Густой, тяжелый, с привкусом хвои и горелого железа. Это тело воняло волком, хотя волка внутри не было. Издевательство.

Я лег. Закрыв глаза. И сделал то, что делал каждую ночь на протяжении тысячи лет, как наркоман, который знает, что доза его убивает, но не может остановиться. Попытался вспомнить. Как это - бежать. Лапы на земле, мягкие, пружинящие. Мышцы работают, как единый механизм - плечи, бедра, хребет. Ветер в морде, забивает ноздри запахами: земля, кровь, сосна, олень за четыреста шагов, ручей за тысячу. Сердце бьет ровно, мощно, как барабан. Легкие - огромные,

вдох на три человеческих. И вой. Вой - это не звук. Вой - это когда ты перестаешь быть собой и становишься частью чего-то большего. Стая. Ночь. Луна. Все.

Я помнил. Тысячу лет помнил. Каждую ночь прокручивал, как безумец, снова и снова. Бег. Запахи. Вой.

Сука.

Сука, сука, сука.

Я перевернулся. Уткнулся лицом в шкуру. Шкура пахла мертвым зверем. Я пах живым зверем в мертвом теле. Хорошая шутка. Если бы я умел смеяться.

Тишина.

Стая внизу уgomонилась. Ночь. Крепость засыпала - я слышал, как замедляются сердцебиения, одно за другим. Фен-рир - в своей норе, два яруса ниже. Сердце быстрое даже во сне - нервный ублюдок. Клыки - четверо, в казарме. Ровные, спокойные. Рабы - в яме, на нижнем ярусе. Частые, рваные, загнанные. Овцы на дворе. Блеют даже во сне. Тупые твари.

И - запах.

Я сел. Резко, рывком, как от удара.

Запах шел снизу. С кухни. Через три этажа камня, через перекрытия, через двери. Три этажа - и я чувствовал его так, будто источник был рядом. На расстоянии вытянутой руки.

Не мускус. Не пот. Не страх - страх я знаю наизусть, как знают наизусть молитву, которую повторяют каждый день: кислый, резкий, с привкусом прогорклого молока и аммиака, от которого морщится нос и расширяются ноздри. Этот

запах был другим. Теплый. Мягкий. Обволакивающий, как дым от костра в морозную ночь, когда стоишь близко и тепло забирается под кожу, под мышцы, под кости. Как нагретый на солнце лен. Как сухая трава, в которой зарываешься мордой и лежишь, и небо над тобой бесконечное, и никуда не надо бежать. Как...

Я не мог подобрать слово. У волков нет слова для этого. У людей, наверное, тоже нет. Запах, от которого пересыхает в глотке и что-то ломит в грудной клетке, слева, там, где тупо стучит бесполезное человеческое сердце.

Она. Слепая. С кухни.

Она пахла так, что у меня свело скулы и ногти впились в ладони сами - рудименты когтей, которые не убирались полностью, выехали из-под кожи и вошли в мясо. Больно. Хорошо. Больно - значит реально. Значит, не мерещится.

Я встал. Подошел к двери. Положил ладонь на камень. Стена была холодной. Я был - горячий. Раскаленный. Сердце колотилось. Мое ебучее, ненавистное, человеческое сердце колотилось так, как не колотилось в бою. Ни разу за тысячу лет.

Из-за запаха.

Из-за слепой. Грязной. С рвотой на подбородке. Со стертыми до костей ступнями. Которая стоит ровно ноль. Которая - мусор. Которая тише мыши и легче тряпки. Которая не закричала.

Я стоял у двери. Ладонь на камне. Дыхание - рваное, хрип-

лое, через стиснутые зубы.

Не пойду.

Не пойду к ней. Незачем. Она - ничто. Мясо для кухни. Завтра забуду. Послезавтра не вспомню. Через неделю сдохнет сама - они вседохнут, хрупкие, бесполезные, с их тонкими костями и водянистой кровью.

Я убрал руку от двери. Сел на лежанку. Лег. Закрыв глаза.

Запах не уходил. Теплый лен. Сухая трава. И что-то еще, третье, чему нет названия, что забиралось под ребра и сворачивалось там, горячее и беспокойное, как зверь в норе.

Блядь.

Я провел ладонью по шраму. От виска до угла рта. Кожа - гладкая, натянутая, мертвая. Шрам не болел. Давно не болел. Но сейчас - зудел. Как будто что-то под ним шевелилось. Как будто волк - мертвый, запечатанный, похороненный заживо на дне моего черепа - дернулся во сне. Впервые за столетия.

Из-за запаха.

Из-за гребаного запаха с кухни.

Я перевернулся на другой бок. Натянул шкуру на голову. Шкура пахла мной - мускусом, кровью, хвоей. Мой запах забивал все. Должен был забить.

Не забил.

Ее запах просачивался через мой, как вода через камень. Тонкий. Упрямый. Неубиваемый. Как она сама. Маленькая, слепая, с содранными ногами - и спокойная. Стоит на коленях перед Вожаком Первой стаи и не дрожит. Или дрожит,

но не так, как должна. Не от страха. От холода. От боли. Но не от страха.

Это было неправильно.

Это было интересно.

Я сорвал шкуру. Сел. Уставился в темноту. Темнота уставилась обратно. Мои глаза горели в ней - золотые, звериные, единственная часть меня, которая не умела притворяться человеческой.

Внизу, через три этажа камня, на кухне, на вонючем тюфяке - она. Спит? Нет. Я слышал ее сердцебиение - ровное, но быстрое. Не спит. Лежит в темноте, в моей крепости, в моем мире, среди моих зверей. Маленькая. Слепая. Живая.

Не пойду.

Сердце колотилось.

Запах лез в ноздри, под кожу, в кости.

Не пойду.

Я стиснул зубы. Челюсть хрустнула. Правая рука - та, которой бил стену - пульсировала болью, и кровь засыхала на костяшках, стягивая кожу.

Не пойду. Не сейчас. Не к ней. Она - никто. Она - ничто. Она - мусор, который завтра сдохнет.

Только вот мусор не пахнет так, что у тысячелетнего вожака трясутся руки.

Я лег. Лицом вниз. Вдавил лоб в камень лежанки. Холод. Боль. Хорошо. Привычно.

А запах - нет. Запах был новый. Незнакомый, как терри-

тория, на которую ступаешь впервые, когда каждый куст может скрывать засаду, каждая тень - ловушку, каждый шорох - смерть. Новая территория. Опасная. Притягательная.

И от этого нового, неизведанного, непонятного меня выворачивало наизнанку хуже, чем от тысячи лет в чужой коже. Потому что чужая кожа - это боль, а боль я знал. А это - не боль. Это что-то другое, чему нет названия ни в волчьем рыке, ни в человеческом слове, и от этого безымянного, бесформенного, горячего, что свернулось под ребрами и не желало уходить, хотелось выть.

Но человеческое горло не умело выть.

И я лежал, вдавив лоб в ледяной камень, и молчал.

Глава 3

Сорок семь шагов от двери до очага.

Я измерила кухню за первый час. Пока колени не отказали - ползала. Когда отказали - лежала на тюфяке и слушала. Слушала, как капает вода из трещины в стене - четыре капли в минуту. Слушала, как потрескивают угли в очаге - сухие, березовые, пахнут горько и тепло. Слушала, как скребут когти по камню где-то наверху - цок-цок-цок - лапы. Не ноги. Лапы. Те, кто ходил наверху, не утруждались человеческим обликом.

Я лежала на тюфяке и строила карту.

Карта - это все. Карта - это контроль. Когда у тебя нет глаз, у тебя есть пальцы, уши и память. У меня память была хорошая. Одиннадцать лет без зрения научили: запоминай или умри. Запоминай, где ступенька. Где яма. Где горячее. Где острое. Мир для слепого - минное поле. Каждый новый шаг - может быть последним, если не запомнила предыдущий.

Сорок семь шагов от двери до очага. На двенадцатом - трещина в полу, глубокая, палец проваливается по вторую фалангу. На двадцать третьем - каменный выступ, если не обойти - разобьешь голень. Стены - грубые, необтесанные, кожу сдирают, если прижаться. Потолок - низкий. Я маленькая, но даже мне приходилось пригибаться у дальней стены, где камень провисал, как брюхо жирной коровы.

Очаг - справа от входа. Большой, ненасытный, дышащий жаром и гарью, как живое существо, которое кормят дровами и костями и которое благодарно отдает тепло, не спрашивая, кто греется - волк или мясо. Жар от него доставал до середины кухни, расползлся по камню горячими пальцами, а дальше обрывался, как будто кто-то провел невидимую черту - и за ней начинался холод. Кухня делилась пополам: половина - живая, теплая, пропахшая мясом и дымом. Вторая - мертвая, ледяная, с запахом сырого камня и плесени. Мой тюфяк был во второй половине. Там, где холодно. Там, где никто не ходит.

Хорошо. Чем дальше от них - тем дольше проживу.

Утром пришла Марта.

Я услышала ее раньше, чем она заговорила. Шаги - мелкие, шаркающие, с хрустом в левом колене на каждом втором шаге. Дыхание - сиплое, со свистом на вдохе. Легкие болезненные. Запах - щелок, старый пот, вареная каша и что-то кисловатое, болезненное. Так пахнут люди, которые слишком долго живут в месте, где жить нельзя.

Она села рядом, и тюфяк просел под ней, как под мешком муки. Тяжелая для своего возраста - я слышала это по шагам еще до того, как она вошла: грузная, рыхлая, с отеками ногами, которые она волочила по камню, как чужие, приставленные к телу по ошибке. Двадцать лет в каменном мешке превратили ее тело в тесто - мягкое, бесформенное, уставшее от собственного веса.

- Живая? - спросила она. Голос хриплый. Усталый. Равнодушный. Не злой - именно равнодушный, как у человека, который видел слишком много мертвых, чтобы радоваться живым.

- Живая.

- Надолго ли. - Не вопрос. Констатация. - Тебя как звать? Я открыла рот. Закрыла. Как звать. Меня никак не звали. В деревне я была Незрячая. Иногда - Слепая. Иногда - Эй-ты. Мать звала Птичкой - но мать умерла, когда мне было двенадцать, и Птичка умерла вместе с ней. Имени не было. В нашей деревне детям не давали имен до пяти лет - чтобы не привязываться, если заберут. Мне не дали и в пять. Слепая. Зачем слепой имя?

- Никак, - сказала я.

Марта помолчала. Потом хмыкнула - коротко, сухо, как треск сломанной палки.

- Тут все никак. Привыкай. Слушай правила. Один раз скажу, повторять не буду.

Я слушала.

Правила были простые. Простые и страшные, как все, что касалось этого места.

Не смотри на волков. Внутри меня что-то дернулось - не смех, нет, смеяться я давно разучилась, но что-то похожее, горькое и колючее, как ком сухой травы в горле. Не смотри. Я. Слепая. Марта поняла. Поправились: не поворачивай лицо к ним. Не поднимай подбородок. Не показывай горло, но

и не прячь. Если прячешь - думают, что боишься. Если боишься - интересно. Если интересно - играют. Если играют - умираешь. Медленно.

Не разговаривай. Ни с кем. Ни на каком языке. Они понимают наш - большинство. Но не любят, когда мясо открывает рот. Мясо молчит. Мясо работает. Мясо дышит тихо.

Не поднимайся выше кухни. Кухня - это дно. Подвал. Самое низкое место в крепости. Выше - казармы. Еще выше - залы. Еще выше - его комната. Она сказала "его" - и голос изменился. Стал тише. Глуше. Как будто даже воздух вокруг этого слова сжался.

Его. Вожак. Большой. Тот, чьи шаги сотрясают камень.

- Если тронут - терпи, - сказала Марта. И ее голос был ровным, пустым, как стена, об которую бились столько раз, что штукатурка осыпалась до кирпича. - Здесь ты мясо. Не человек. Мясо. Чем быстрее примешь - тем дольше проживешь.

- Сколько ты здесь? - спросила я.

- Двадцать лет.

Двадцать лет. Я сглотнула. В горле стало сухо. Двадцать лет на этой кухне, в этом каменном мешке, среди запахов крови и жира и мокрой шерсти. Двадцать лет мясом.

- Ты привыкла?

Марта встала. Тюфяк скрипнул. Ее колено хрустнуло - левое, то самое.

- Привыкнуть нельзя. Можно перестать замечать. Как

боль. Как холод. Как запах. Перестаешь замечать - и живешь. Замечаешь - и нет.

Она ушла. Шарк-шарк-хруст. Шарк-шарк-хруст. Звук стих за дверью.

Я осталась одна. С картой в голове и правилами в груди.

Мясо. Я - мясо.

Хорошо. Мясо так мясо. Мясо не чувствует. Мясо не думает. Мясо считает шаги.

Сорок семь до очага. Двадцать три ступени вверх. Тридцать один шаг по коридору. Четырнадцать до поворота. Дальше - неизвестность. Дальше - карта обрывается.

Пока.

Мне дали работу. Полы. Шкуры. Котлы.

Полы я мыла на четвереньках, как зверь, которым они хотели меня видеть, - на четвереньках, с мокрыми руками, с коленями, впечатанными в ледяной камень. Тряпка была грубой, колючей, сплетенной из чего-то, что напоминало конский волос, пропитанный кислотой, от которой жгло ноздри. Вода в ведре - такая ледяная, что пальцы переставали чувствовать после первого погружения, а привкус железа оседал на языке, даже если не пить. Я ползала по камню, и колени горели, и ладони горели, и кожа на подушечках пальцев давно лопнула и саднила от щелока. Я мыла и считала. Каждая плитка - один шаг. Каждый шов между плитками - ориентир. Трещина - поворот. Выбоина - стена рядом. Я мыла полы и рисовала карту.

Шкуры были хуже. Тяжелые, как намокшие одеяла, пропитанные сырой кровью и прогорклым жиром, который забивался под ногти и не отмывался, сколько ни три. Их нужно было скрестить ножом - тупым, изогнутым, с деревянной рукоятью, обмотанной кожей. Я скребла на ощупь. Лезвие соскакивало. Дважды порезалась - ладонь и запястье. Кровь текла в шкуру, мешалась с чужой, и я скребла дальше, потому что мясо не останавливается. Мясо работает.

Другие рабы были. Я слышала их: четверо. Два мужских дыхания - хриплые, загнанные. Два женских - тихие, с подавленными всхлипами. Никто не подошел. Никто не заговорил. Я была слепая - значит, бесполезная. Значит, обуза. Значит, из-за нее нам всем достанется, потому что она не видит, куда льет воду, и разливает, и кто-то поскользнется, и волки заметят, и будет плохо.

Я чувствовала их взгляды. Не видела - чувствовала. Давление на коже. Как солнце, только холодное. Они смотрели на меня и думали: зачем она здесь? Почему не в яме? Почему не мертвая?

Я тоже думала. Не находила ответа.

Зачем Вожак сказал "на кухню"? Я не слышала этого слова - не знала их языка. Но я слышала, как Марта говорила: он решает. Всегда он. Если ты жива - значит, он решил. Если ты на кухне, а не в яме - значит, он так захотел.

Зачем?

Мусор не приносят на кухню. Мусор выбрасывают.

Я не нашла ответа. Скребла шкуру. Считала швы на полу. Вечер подкрался запахом.

Сначала - инцидент.

Я несла ведро с грязной водой по коридору. Считала шаги. Семь до поворота. Три до слива. Стены - знакомые, я уже провела по ним пальцами дважды, запомнила каждый выступ, каждую трещину.

Рука. Чужая, горячая, с запахом меди и кислого пота. Она вцепилась мне в волосы - всей пятерней, от корней, с рывком назад, таким резким, что шейные позвонки хрустнули один за другим, как сухие ветки, и ведро полетело из рук, ударились о камень и загрохотало, разбрызгивая ледяную воду по моим босым ногам. Вода - на камень, на мои ноги, ледяная. Я повисла на его хватке, как тряпка на гвозде. Волосы натянулись до боли - горячей, звенящей, от корней до затылка.

Рычание. Молодое. Звонкое. Тот самый голос - из деревни, из дороги. Тот, который говорил "слепая, бесполезная, перережь горло". Он держал меня за волосы и рычал что-то на своем языке, и его дыхание пахло сырым мясом, и его рука дрожала - не от усилия. От возбуждения. Ему нравилось. Он играл. Кошка с мышью. Волк с мясом.

Я не закричала. Не задергалась. Не заплакала.

Стояла. С запрокинутой головой, с болью в скальпе, с ледяной водой на ногах. Стояла и молчала.

Он дернул сильнее. Я почувствовала, как несколько волосков вырвались - тонкое, острое жжение. Не закричала. Он

зарычал - громче, требовательнее. Ему нужна была реакция. Крик. Слезы. Мольба. Он кормился страхом, как они все. А я - не кормила.

Секунда. Две. Три.

Он отпустил. Фыркнул. Ушел - лапы по камню, цок-цок-цок. Быстро, раздраженно. Без реакции - неинтересно. Сломанная игрушка. Мясо без вкуса.

Я подняла ведро. Руки тряслись - мелко, судорожно, как у старухи, хотя мне было восемнадцать и руки у меня были сильные, ткацкие, привыкшие к тяжелой нити и тугому станку. Всю дрожь, которую не дала ему увидеть, я дала себе - щедро, жадно, до последней капли. Здесь, в коридоре, одна. Трясло так, что зубы стучали. Колени подогнулись, и я села на корточки, прижав ведро к груди, и дрожала. Долго. Минуту. Может, пять.

Потом встала. Набрала воды. Пошла дальше.

Сорок семь шагов до очага. Трещина на двенадцатом. Выступ на двадцать третьем.

Считай. Дыши. Не думай.

Вечер пришел запахом жареного мяса и гулом голосов сверху. Стая ужинала. Я слышала - рычание, лязг, чавканье. Звуки кормежки хищников: рвущееся мясо, хруст костей, рыки из-за лучших кусков. Иногда - короткий визг, обрывающийся щелчком челюстей. Кто-то кого-то укусил за лучший кусок. Нормально. Для них - нормально.

Мне бросили кость с обрезками мяса - швырнули сверху,

из проема в потолке, как бросают объедки собаке, не глядя, не целясь. Кость ударилась о камень у моих ног, подпрыгнула, откатилась, и я поползла за ней на четвереньках, нащупала, подняла, и пальцы обожгло горячим жиром. Я подняла. Мясо - жесткое, жилистое, воняющее горелым. Но горячее. Я ела руками. Зубами рвала волокна, и жир тек по подбородку, и мне было все равно. Голод - хороший учитель манер. Он учит, что манер не существует. Есть еда и есть рот. Все остальное - выдумки сытых.

Я обглодала кость до белого. Высосала мозг. Теплый, склизкий, с привкусом железа. Желудок принял - жадно, судорожно. Первая горячая еда за... сколько? Два дня? Три?

Тело перестало дрожать. Ненадолго. Тепло от мяса разлилось по животу, по ребрам, просочилось в руки. Пальцы перестали неметь. Колени - нет. Колени уже не слушались.

Я сидела на тюфяке, обхватив колени, и слушала, как крепость засыпает. Голоса стихали. Рычание переходило в ворчание, потом в тишину. Сердцебиения замедлялись. Одно за другим. Засыпали.

Я не спала.

Я думала.

Думала о Матильде, чей крик оборвался хрустом. О Яне, пятилетнем, с его тонким визгом. О лице под моими ладонями - женском, молодом, со сломанным носом. Кто она была? Я не знала. Может, из соседней деревни. Может, из нашей. Может, я знала ее по голосу, по шагам, по запаху свежееиспе-

ченного хлеба из ее дома - а теперь знала по мертвым зубам под пальцами.

Думала о маме. О том, как она звала меня Птичкой, и голос у нее был теплый и шершавый, как шерстяная нить, и пах парным молоком и дымом от очага. Птичкой - потому что я была маленькая и тонкокостная, с запястьями, которые она обхватывала двумя пальцами, и потому что пела. Пела, когда ткала. Пела, когда мыла полы. Пела, когда было страшно - а страшно было всегда. Мама говорила: пой, Птичка, пока поешь - живешь.

Я не пела с тех пор, как ее не стало. Шесть лет. Шесть лет тишины.

Думала о Вожаке. О его руке на моем плече. О том, как он поднял меня одной рукой, как пустую кружку. О его запахе - сосновая смола, железо, зверь. О его голосе - одно слово, и мир замолкает.

Зачем я жива?

Потому что он решил.

Почему он решил?

Не знаю. И это - самое страшное. Страшнее набега. Страшнее костей под ногами. Страшнее мертвого лица. Не знать, зачем ты жива, - это как стоять на краю обрыва в темноте. Ты знаешь, что обрыв есть. Не знаешь, где он начинается.

Шаги.

Я замерла. Дыхание остановилось само - в груди все сжа-

лось, как кулак.

Шаги были тяжелые. Мерные. На четыре счета длиннее моих. Тумм. Тумм. Тумм. Я знала эти шаги. Знала по дороге сюда. Семьсот сорок шагов - и его были каждым четвертым ударом земли, который я считала.

Он спускался. По ступеням. Двадцать три - я считала вместе с ним, и мои губы шевелились беззвучно: восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Коридор. Тридцать один шаг. Его - меньше. Восемь. Его ноги - в четыре раза длиннее.

Он остановился.

У двери. Я слышала его дыхание - глубокое, медленное, с легким хрипом на выдохе. Горячий воздух. Запах - мой позвоночник прошило от копчика до затылка. Сосновая смола. Железо. Шерсть. Зверь. Его запах был таким густым, таким плотным, что мне показалось - воздух стал тяжелее. Гуще. Как перед грозой.

Он вошел, и воздух кухни сгустился, стал тяжелее, горячее, как будто кто-то открыл заслонку печи и выпустил жар. Он заполнил собой пространство - не движением, не звуком, а присутствием, от которого камень, казалось, прогибался, а тени, если бы я могла их видеть, отступали к стенам.

Не зажег огня. Может, ему не нужен свет, может, его звериные глаза видели в темноте лучше, чем человеческие при полуденном солнце. Мне было все равно - я жила в темноте всю жизнь, и темнота была единственным местом, где мы с ним были равны.

Три шага от двери к стене. Он сел, и камень застонал под его весом - тихо, утробно, как стонет земля перед обвалом. Я слышала - шорох ткани о камень, тихий стон камня под его весом. Он был тяжелым. Огромным. Пол под ним скрипнул.

Он сел в трех шагах от моего тюфяка. В темноте. В тишине.

И молчал.

Мое сердце колотилось так громко, что он наверняка слышал. Если у него волчий слух - а он был волком, зверем, чем-то, чему нет названия, - он слышал каждый удар. Каждый. Сто двадцать в минуту. Может, больше.

Я лежала. Он сидел. Темнота между нами была общей - его и моей. Он не видел меня? Нет. Он видел. Я чувствовала его взгляд - давление на коже. Горячее. Как его ладонь на моем плече.

Минута. Две. Пять. Десять.

Он не двигался. Не говорил. Только дышал, и его дыхание было единственным звуком в мире - медленное, тяжелое, мерное, как прибой, набегающий на берег и откатывающий обратно. Как сердцебиение горы, внутри которой мы оба находились. Вдох - и тепло касалось моего лица, пахнущее смолой и зверем. Выдох - и тепло отступало, оставляя после себя мурашки и привкус чего-то запретного на кончике языка.

Я сжимала тюфяк. Пальцы болели - сбитые, порезанные, обожженные щелоком. Я вцепилась в солому и слушала, как

он дышит. И мурашки шли по рукам, по спине, по шее, по скальпу - волна за волной, и в животе скручивалось что-то горячее, незнакомое, пугающее.

Не страх.

Я знала страх. Страх - это когда хрустит Матильда. Страх - это мертвые зубы под ладонями. Страх - это кости под бо-
сыми ногами. Это - не страх.

Это было хуже. Потому что у страха есть имя. А у этого - нет.

Он просидел час. Или два. Или вечность - время в темноте не существует.

Потом встал. Камень под ним вздохнул от облегчения. Три шага к двери. Двадцать три ступени вверх. Тумм. Тумм. Тумм.

Тишина.

Я лежала. Сердце колотилось. Кожа горела. Тюфяк пах плесенью и соломой, и под этим - его запах. Он оставил его здесь. Как метку. Как след.

Сосновая смола. Железо. Зверь.

Я натянула на себя его шкуру - ту, грубую, тяжелую, которую бросили вместе со мной на первый день. Нет. Не бросили. Я вспомнила: ее не было, когда меня кинули на тюфяк. Она появилась позже. Кто-то принес. Положил рядом. Когда я спала? Или когда не спала, но была слишком разбита, чтобы заметить?

Шкура пахла им - густо, сильно, головокружительно, как

будто он спал на ней каждую ночь, вминая свой запах в каждое волокно, в каждый завиток меха, пропитывая шерсть своим теплом и своим одиночеством. Это была его шкура - не трофей, не добыча, а личная, своя, та, на которую он ложился голой спиной после дня, прожитого в чужом теле.

Мне стало тепло. Впервые за три дня. Тепло и тяжело, и что-то внутри, под ребрами, где скручивался горячий узел, - ослабло. Разжалось. Не до конца. Но достаточно, чтобы перестало болеть.

Я закрыла глаза. Темнота. Моя. Его. Общая.

Он придет завтра. Я знала это так же точно, как знала свою карту. Сорок семь шагов до очага. Трещина на двенадцатом. Выступ на двадцать третьем.

Он придет.

И я буду ждать.

Не потому что хочу. Не потому что могу не ждать. Потому что его запах на этой шкуре - единственное, от чего перестает болеть. А боль - это все, что у меня осталось, кроме карты и счета шагов. И если кто-то может ее убрать, пусть даже зверь, пусть даже тот, чьи руки воняют кровью моих соседей, - я буду ждать.

Мясо не выбирает.

Мясо выживает.

Сорок семь шагов до очага. Двенадцать до трещины. Двадцать три ступени вверх.

И его дыхание в темноте.

Глава 4

Он пришел на вторую ночь.

Я ждала его весь день, и от этого ожидания было тошно и стыдно, как от болезни, которую нельзя показать, которую прячешь глубоко внутри, под ребрами, в том месте, где живет голод и страх и все, что ты не хочешь чувствовать, но чувствуешь. Весь день мыла полы и прислушивалась к звукам наверху, ловила их жадно, как голодная птица ловит крошки, просеивала сквозь пальцы, отбрасывала чужие. Тяжелые шаги - нет, не те, легче, быстрее, без утробной вибрации, от которой дрожит камень. Еще шаги - снова не он. И еще - не он, не он, не он, и с каждым чужим шагом что-то внутри сжималось туже, больнее, нелепее.

К вечеру я убедила себя, что ждать нечего. Легла. Завернулась в его шкуру. Уткнулась лицом в мех, и мне было стыдно, и я не могла остановиться - тело хотело этот запах. Тело запомнило его раньше, чем голова разрешила.

Я не слышала, как он вошел. Просто запах - сосновая смола и раскаленное железо - ударил в ноздри, а через секунду его рука была у меня на горле.

Не на шею. На горло. Пальцы сомкнулись вокруг кадыка, и он поднял меня с тюфяка одной рукой. Как котенка за шкуру. Мои ноги болтались в воздухе. Шкура соскользнула, холодный воздух ударил по телу. Я захрипела - его хватка пе-

рекрывала воздух не полностью, но достаточно, чтобы в голове зашумело.

Он подтянул меня к себе. Близко. Так близко, что его дыхание обожгло мне лоб - горячее, тяжелое, с рыком на каждом выдохе. Мое лицо оказалось на уровне его груди. Голая кожа - горячая, как чугунная сковорода, шершавая от шрамов. Он пах зверем - густо, тяжело, оглушающе. Так пахнет хищник, которому не нужно прятаться. Который стоит на вершине пищевой цепи и знает это каждой клеткой.

Он начал нюхать, и это было не человеческое, осторожное принюхивание, а звериное, жадное, ненасытное изучение, в котором не было ни грамма стеснения, ни тени сомнения - только инстинкт, голый и горячий, как его кожа. Уткнулся носом мне в макушку и втянул воздух так глубоко, что волосы зашевелились от этого вдоха, как трава от ветра. Рывком дернул мою голову вбок - его кулак был в моих волосах, выворачивал, тянул - и впечатался носом мне за ухо. Горячий, мокрый, жесткий. Втянул. Рыкнул - коротко, утробно. Развернул мою голову в другую сторону - шея хрустнула от рывка - и обнюхал другое ухо. Висок. Линию челюсти. Подбородок.

Больно. Шея горела. Скальп саднил от его хватки. Мои руки вцепились в его запястье - бесполезно. С таким же успехом можно было цепляться за каменную колонну. Он не замечал моих рук. Не замечал моих хрипов. Не замечал меня - он нюхал. Изучал. Как зверь, который нашел новую вещь и

проверяет - съедобно? Интересно? Годится?

Он спустился ниже. Ткнул носом в ключицу. Рубашка на мне была тонкая, рваная - его дыхание прожигало ткань. Он прошелся носом по вороту, по плечу, по руке. Его свободная рука схватила мое запястье - стиснула так, что кости за скрипели. Поднес к лицу. Обнюхал ладонь - быстро, жадно, палец за пальцем. Рыкнул громче. Сжал запястье сильнее - до хруста. Я охнула.

Ему понравилось - и я почувствовала это так же отчетливо, как чувствуют перемену ветра или приближение грозы: всем телом, каждой клеткой кожи, каждым волоском, вставшим дыбом. Почувствовала в том, как он замер на секунду после моего охнувшего голоса. Как его дыхание стало глубже. Как его пальцы на моем горле сжались чуть крепче - не смертельно, но ощутимо. Ему нравился мой звук. Мой хрип. Мое маленькое, бессильное "ох".

Он разжал руку, и я рухнула на тюфяк, как подрезанная птица, и спина ударилась о камень, и воздух вышел из легких одним рваным выдохом, и мир сузился до горячей пульсирующей точки в горле, где его пальцы оставили свой рисунок. Я скрючилась на боку, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, кашляла и давилась, и горло горело от его хватки, и запястье наливалось тупой тяжелой болью, которая будет цвести синяками к утру, и весь мир - от каменного пола до невидимого потолка - пах им, был пропитан его запахом, как ткань пропитывается краской, до последней

нитки, до основы, до изнанки.

Он стоял надо мной. Я чувствовала его жар сверху - тяжелый, давящий, как крышка над кастрюлей. Его дыхание - ровное, спокойное, сытое. Как у зверя, который поохотился и доволен. Не тяжелое, не рваное. Довольное. Ему понравилось.

Он наклонился. Его рука - одна, левая, с железным обручем, ледяным на фоне его раскаленной кожи - схватила мой подбородок. Грубо, снизу, сжала челюсть. Повернула мое лицо вверх. К себе. Как будто хотел посмотреть. Хотя чего смотреть на слепую - мертвые серые глаза, грязные щеки, ободранный подбородок.

Он смотрел. Я чувствовала его взгляд - давление, жар, вес. Как камень на лице. Три секунды. Пять. Он разглядывал меня, держа за подбородок, как разглядывают вещь перед покупкой.

Потом отпустил. Толкнул мое лицо в сторону. Небрежно. Как откладывают недоеденный кусок - не выбрасывают, но и не доедают. Пока.

Шаги. Прочь. Вверх. Ушел.

Я лежала. Кашляла. Горло саднило. На запястье - его пальцы отпечатались пятью горячими полосами. Завтра будут синяки. Завтра Марта увидит и покачает головой. Завтра.

Сейчас я лежала и трогала свое горло. Там, где были его пальцы. Горячее. Пульсирующее. Живое.

Он схватил меня за горло, обнюхал, как вещь, стиснул за-

пястье до хруста и швырнул обратно. Грубо. Жестко. Бесцеремонно. Как зверь, который берет, что хочет, когда хочет, и ему плевать.

И мое тело - тупое, предательское, сломанное тело, которое должно было скулить от боли и мечтать о побеге - горело. Горело не от боли, хотя боль была, горело от чего-то другого, темного и тягучего, как расплавленная смола, которая затекает в щели и застывает намертво, и уже не отскрести. От того, как его пальцы сжимали мне горло. От того, как его нос вдавливался в кожу за ухом. От того, как он рыкнул, когда нюхал мою ладонь.

Мясо не чувствует такого. Мясо терпит. Мясо не горит изнутри после того, как его швырнули на пол.

Я горела.

Утром Марта увидела синяки. На горле - пять полос. На запястье - браслет из кровоподтеков. Она посмотрела. Промолчала. Поставила передо мной миску каши. Ушла.

Что тут скажешь. Марта видела сотни таких следов - на чужих шеях, на чужих руках. Она знала, что они значат. Она знала, чем заканчивается. Ее молчание было громче любого предупреждения.

Вожак делает что хочет. С кем хочет. Когда хочет.

Я мыла полы. Скребла шкуры. Тряпка, вода, камень. Колени - в мокрое. Руки - в щелок. Боль привычная, рабочая, честная. Руки работали, голова - нет. Голова была в ночи. В его хватке. В запахе, который впитался в кожу и не смывался.

Днем мимо прошел волк - не молодой, не тот, с кислым дыханием и щенячьей злобой, а другой, старше, тяжелее, пахнувший мокрой шерстью и чем-то горьким, как полынь. Остановился. Принюхался, наклонив голову так, что я услышала, как хрустнул позвонок. Наклонился ко мне, и его дыхание - кислое, чужое, с привкусом сырого мяса и застарелого голода - коснулось моей шеи, той самой шеи, на которой еще горел след его ноздрей. Нюхал. Секунду, другую. Потом отдернулся так резко, как будто его ударили по морде невидимой рукой, фыркнул и ушел быстро, почти бегом, путаясь в собственных лапах на мокром камне.

Он унюхал на мне Вожака. Его запах на моем горле стоял как забор. Как предупреждение, выбитое в камне. Как оскаленная пасть на входе в нору - не лезь. Мое. Его запах - на моем горле, на моих волосах, на моей коже. Метка. Предупреждение. Мое. Не трогать.

Волк убежал от моего запаха. Нет - от его запаха на мне.

Внутри что-то дернулось. Не страх. Не облегчение. Что-то темное, жгучее, стыдное. Что-то, что шептало: он пометил тебя. Ты - его. Его вещь. Его мясо. И от этого тебе - горячо.

Я вжала тряпку в камень и терла пол, пока костяшки не побелели.

Вечером мне бросили кость. Сверху, из проема. Она стукнулась о камень у ног. Мяса на ней было больше, чем обычно. Не огрызки - целый кусок, горячий, с жиром. Я подняла. Понюхала.

Пахло его руками - тем самым запахом, от которого мое тело вспоминало ночь и кулак в волосах, и нос за ухом, и хрип на каждом его выдохе.

Он передал мне еду? Или кто-то из стаи? Нет. Стая бросала объедки. А это - кусок. Нормальный, большой, с мясом и жилами. Кто-то специально отрезал и кинул вниз.

Я ела. Жадно, быстро, давясь горячим жиром. И думала: это он. Он бросил мне кость. Как собаке. Как своей собаке. Не потому что жалко - потому что свое надо кормить. Свое должно быть сытым. Свое не должно сдохнуть.

Я - свое.

Кость обглодала до белого. Высосала мозг. Облизала пальцы. Каждый палец пах его ладонями. Мясо. Смола. Железо.

Я сидела на полу кухни, облизывая кость, как собака. Как его собака. Ручная, прикормленная, помеченная. С синяками от его пальцев на горле и его запахом в волосах. Сидела и облизывала кость, и где-то на дне черепа стучала мысль: ты не собака. Ты человек. У тебя было имя. Была мама. Был ткацкий станок и серое озеро за окном. Были руки, которые умели создавать красоту из ниток.

А теперь ты облизываешь кость, которую бросил зверь. И тебе - хорошо.

Хорошо, потому что сытно. Хорошо, потому что тепло. Хорошо, потому что он помнит о тебе. Три этажа камня между вами - а он помнит. Бросает кость. Спускается ночью.

Хватает. Нюхает. Кусает.

Помнит.

Мне было стыдно. И от стыда - еще горячее.

Третья ночь. Он не стал ждать.

Я еще сидела на тюфяке, разматывая тряпку с ладони, когда запах ударил в нос. Через секунду - его рука в моих волосах. Сгреб, дернул, поставил на ноги. Я вскрикнула - от неожиданности, не от боли. Хотя больно тоже было. Ему было плевать.

Он развернул меня к себе. Обе руки - на моих плечах. Тяжелые. Давящие. Его ладони накрыли мои плечи целиком - я под ними была, как мышь в когтях ястреба. Его пальцы впивались в кожу - не до крови, но ощутимо. Он держал. Фиксировал. Как зверь фиксирует добычу перед тем, как...

Он наклонился. Его лицо - рядом с моим. Я чувствовала его дыхание на своей щеке, на своих губах. Горячее. Влажное. С рыком на выдохе. Он не целовал - он не знал, что это. Он обнюхивал мое лицо. Лоб, нос, щеки, подбородок. Его нос касался моей кожи - жесткий, горячий, мокрый.

Он зарычал. Низко. Утробно. Рык прошел через его грудь - я почувствовала вибрацию его тела, потому что стояла вплотную, прижатая его руками, и его грудная клетка вибрировала, как барабан. Мои ребра задрожали в ответ. Мое сердце сбилось с ритма - подстроилось под его. Чужой ритм. Звериный. Медленнее моего. Тяжелее.

И тогда - зубы.

Его зубы на моем ухе, и мир перестал существовать за пределами этого прикосновения. Не сильно - не до крови, не до разрыва, но ощутимо, отчетливо, неотменимо. Зубы сомкнулись на мочке - острые, нечеловечески острые, с краями, которые могли бы вскрыть кожу, как нож вскрывает плод, но не вскрыли, остановились на границе, на самом краю боли, там, где боль переходит в нечто другое, чему я не знала имени. Я вздрогнула всем телом. Звук вырвался из горла - тонкий, жалкий, задушенный. Не крик. Скулеж.

Он зарывал. Низко. Утробно. Довольно. Мой скулеж ему понравился больше, чем молчание. Он хотел звуков. Он хотел реакции. Не страха - реакции. Чтобы я дергалась. Чтобы пищала. Чтобы мое тело отвечало его телу.

Куснул за шею - сильнее, увереннее, с рыком, который завибрировал в моих костях, как камертон. Его зубы впились в кожу между шеей и плечом, в то мягкое, незащитное место, где пульсировала жилка, где кровь билась так близко к поверхности, что он наверняка чувствовал ее вкус сквозь кожу, соленый и горячий, как сама жизнь. Я дернулась. Вскрикнула. Его хватка на плечах стала железной. Он держал и кусал, и рычал, и его рык вибрировал в моих костях, в моих зубах, в моем черепе.

Боль. Яркая, звенящая, горячая. И под болью - что-то другое. Что-то, от чего мои пальцы впились ему в предплечья, и я не оттолкнула - вцепилась. Его мышцы под моими руками - каменные, горячие, перевитые шрамами. Я вцепилась в

зверя, который кусал мне шею. Вцепилась - и не отпускала.

Он зарычал. Громче. Удивленно? Одобрительно? Я не знала звериных интонаций. Но рык изменился - стал глубже, тяжелее, и его тело прижалось ко мне ближе, и я почувствовала его целиком - каменную стену из мышц, жара и чужой кожи.

Потом - оттолкнул.

Отпустил. Разжал зубы. Разжал руки. Я покачнулась - ноги не держали. Он толкнул меня. Ладонью в грудь. Несильно для него - для меня достаточно. Я упала на тюфяк. На спину. Лежала и смотрела в темноту мертвыми глазами, и шея горела, и ухо горело, и на плечах отпечатались его пальцы, и внизу живота скрутилось так, что я прикусила губу до крови.

Он стоял надо мной. Дышал. Спокойно. Ровно. Как будто ничего не произошло. Как будто он не схватил, не обнюхал, не укусил. Как будто это - нормально. Как будто так и надо.

Для него - так и надо. Так волки знакомятся. Так волки проверяют. Так волки решают - мое или нет.

Он решал.

Шаги. Прочь. Лестница. Ушел.

Я лежала. Трогала шею. Там, где его зубы - два полукруга, верхняя и нижняя челюсть. Не кровь - но кожа содрана. Завтра будет синяк. Красивый. В форме его рта.

Мое тело дрожало. Все - от пальцев ног до корней волос. Не от страха. Не от холода. Дрожало от того, что он сделал, и от того, как мое тело на это ответило. Ответило жаром. От-

ветило скулежом, который ему понравился. Ответило пульсом внизу живота, тяжелым и мокрым, от которого хотелось сжать бедра и умереть от стыда.

Он - зверь. Грубый. Жесткий. Бесчувственный. Ему нравится хватать. Нравится нюхать. Нравится кусать. Нравится, когда я дергаюсь и пищу. Ему - нравится.

И мне.

Эту мысль я похоронила сразу. Затолкала на самое дно, под страх, под боль, под стыд, под все. Закопала. Засыпала.

Она не закопалась, потому что есть вещи, которые нельзя похоронить, как нельзя похоронить огонь - он уходит в землю и тлеет там, под слоем золы и камней, и ждет, ждет, ждет своего часа.

Она лежала на дне и горела. Горела его руками на моих плечах. Горела его зубами на моей шее. Горела его рыком в моих костях. Горела тем, как я вцепилась в его предплечья и не отпускала. Не оттолкнула. Вцепилась. Как угли, которые присыпали пеплом - не видно, но горячо. Тронешь - обожжешься. Подуешь - вспыхнут.

Я натянула шкуру. Его шкуру. Прижала к лицу. Закрывала глаза - бессмысленный жест слепой, привычка, рефлекс. Вдохнула его запах из меха. Тот же запах, что на моем горле. На моей шее. На моем ухе.

Я была его. Не потому что он решил. Потому что мое тело решило за меня. Тупое, предательское, голодное тело, которое горело от его рук и скулило от его зубов и хотело - хоте-

ло, хотело, хотело - чтобы он пришел снова.

Он придет. Звери возвращаются к тому, что пометили.

А я была помечена. С головы до ног. Синяками, укусами, запахом. Его клеймом на моей коже.

Клеймо зверя.

Марта говорила: они не как мы. Не обнимают. Не ласкают. Не целуют. Они хватают, кусают, роняют, швыряют. У них нет слова "нежно". Нет слова "бережно". Есть "мое" - и точка. Мое - значит, кусаю. Мое - значит, метка. Мое - значит, горе тому, кто тронет.

Грубо. Жестко. Больно.

И я - сломанная, слепая, бесполезная - лежала на тюфяке и хотела, чтобы он укусил еще раз. Сильнее. Глубже. Так, чтобы осталось навсегда. Так, чтобы каждый волк в этой крепости знал - мое. Его.

Я ненавидела себя за это. Ненавидела свое тело, которое предало быстрее, чем успела подумать. Ненавидела дрожь в коленях и жар внизу живота и то, как мои пальцы снова и снова возвращались к его укусу на шее, трогали, проверяли - здесь? Еще здесь? Не пропал?

Не пропал. Горел. Пульсировал. Жил.

Сорок семь шагов до очага. Двадцать три ступени вверх. Пять синяков на горле. Два полукруга на шее.

Считай. Дыши.

Не думай о том, как горит кожа там, где были его зубы.

Не думай о том, что ты вцепилась в его руки и не отпус-

кала.

Не думай о том, что тебе хотелось - больше. Сильнее. Ближе.

Не думай.

Считай.

Сорок семь. Двадцать три. Пять. Два.

Числа. Шаги. Синяки. Укусы.

Моя новая карта. Карта его зубов на моей коже.

Единственная территория, которую я не хочу покидать.

Засыпала медленно, как тонут - сначала ноги, потом тело, потом голова уходит под воду, и тишина смыкается над тобой, и ты перестаешь сопротивляться, потому что вода теплая, и на дне - его запах. Его шкура у лица, его дыхание в каждом вдохе, его следы на моем теле - горячие, пульсирующие, живые, как второе сердцебиение поверх моего собственного.

Зверь.

Мой зверь, которому нет названия на человеческом языке и нет оправдания в человеческом мире. Мой зверь, от которого останутся синяки и укусы и горящая кожа и стыд, от которого хочется свернуться клубком и никогда не разворачиваться. И желание - темное, тяжелое, неподъемное, как камень, под которым я лежала, - чтобы он пришел снова.

Глава 5

Я увидел ее голой и чуть не сожрал собственный язык.

Раз в десять дней рабов гнали к реке - мыться. Не из заботы, нет, просто вонь от немытого мяса забивала даже волчьи ноздри, и Клык, старый ублюдок, который отвечал за хозяйство, сказал: либо моем их, либо закапываем, потому что скоро они начнут гнить заживо. Я разрешил. Мне было насрать - пусть моются, пусть гниют, пусть провалятся в ту реку и не всплывут, у меня хватало дел поважнее, чем думать о гигиене расходного материала.

Но в это утро что-то потянуло меня к утесу, нависающему над рекой, как ладонь над миской, с которого открывался вид на излучину, где мелко и течение слабое, где камни покрыты зеленым мхом и вода блестит на солнце, если солнце вообще пробивается через серую муть, которую в этих землях называют небом. Что-то потянуло - или кто-то, потому что мое ебучее тело давно жило своей собственной жизнью, и ноги несли меня туда, куда я не просил, и ноздри искали запах, который я не хотел искать, и все это было унижительно, и бесило, и я ненавидел себя за каждый шаг, но шел.

С утеса я видел все.

Река внизу блестела тускло, как старый клинок, который давно не точили, и несла с собой запахи мха, мокрой земли и рыбьей чешуи, и от воды тянуло холодом, от которого сво-

дило челюсть даже на расстоянии. Семеро рабов спустились к воде гуськом, под конвоем двух молодых охотников, которым было откровенно скучно и которые грызлись между собой за кусок вяленого мяса, не обращая внимания на свое стадо. Мужики скинули тряпье и полезли в воду первыми - грязные, тощие, с торчащими ребрами и хребтами, похожие на ощипанных кур. Бабы жались к берегу, мялись, прикрывались руками. Три штуки. Бабы всегда мнутя. Идиотская человечья привычка - прятать тело, которое и так никому не нужно.

Она стояла последней. На берегу, босиком на мокрых камнях, и ветер трепал ее волосы - серебристые, длинные, до поясницы, живые и блестящие даже в этом сером свете, как лунная дорожка на воде, как нитка расплавленного металла в темноте. Она стояла и не двигалась, потому что не знала, где берег кончается и начинается река, и ее руки были вытянуты вперед, нащупывая воздух, и пальцы шевелились, как усики слепого жука, ищущие дорогу в незнакомом мире.

Одна из баб подошла, взяла ее за руку, потянула к воде. Она пошла - осторожно, ощупывая каждый камень ступней, и ее ноги были белыми и тонкими, с голубыми венами на щиколотках, с розовыми шрамами на подошвах - от дороги, от камня, от моей крепости, которая жрала ее ступни каждый день.

Она стянула рубаху.

Одним движением, через голову, быстро, как будто хоте-

ла покончить с этим раньше, чем успеет подумать, и рубаха полетела на камни, и она осталась голой, и мир перестал существовать.

Блядь.

Я видел тысячи голых тел за тысячу лет. Человечьих, волчьих, всяких. Тела - это мясо, кости, кожа, требуха, ничего интересного, ничего, от чего у тысячелетнего вожака перехватит дыхание и потемнеет перед глазами. Но ее тело было другим, и я не мог объяснить, чем, как не мог объяснить, почему ее запах сводил меня с ума, а запах любой другой самки оставлял равнодушным, как запах камня или дерева.

Маленькая. Такая маленькая, что в ней не было ничего лишнего - ни жира, ни плоти, только кости и кожа, натянутая на них, как ткань на раму, тонкая, прозрачная, с голубыми прожилками, через которую, казалось, можно было видеть, как бьется сердце. Ключицы - острые, как лезвия, с ямками, в которых скапливались тени. Ребра - каждое видно, каждое отдельно, лесенка из кости и кожи, ведущая от горла к животу. Живот - впалый, с тонкой ложбинкой посередине, с тазовыми костями, выступающими, как крылья птицы, готовой взлететь. Бедрa - узкие, мальчишеские, с синяками от моих пальцев на внутренней стороне, бордовыми, жирными, как чернильные пятна на белом пергаменте.

Мои синяки. На ее коже. Мои отпечатки на ее теле - пять пальцев на горле, пять на бедре, зубы на шее, царапины от когтей на плечах. Я пометил ее с головы до ног, расписался

на каждом сантиметре, и сейчас, в сером утреннем свете, ее тело выглядело как карта моего безумия, белый холст, на котором мои руки нарисовали картину из синяков и укусов.

У меня пересохло в горле. Не от жажды - от чего-то другого, горячего и удушающего, что поднялось из паха, из живота, из самого дна, где мертвый волк лежал свернувшись, и ударило в голову, в глаза, в зубы. Похоть. Волчья, звериная, ослепительная похоть, от которой заломило кости и когти выехали из-под ногтей, впившись в ладони, и челюсть светло так, что я услышал, как хрустнул зуб - коренной, правый, верхний - раскрошился от давления, и я сглотнул крошку эмали вместе со слюной, обжигающей, густой, как расплавленный свинец.

Она вошла в воду. По колено. Вздогнула - холодно. Обхватила себя руками, и ее соски сжались от холода, маленькие, розовые, твердые, и я смотрел на них с высоты утеса, и мне хотелось прыгнуть, спуститься, схватить ее мокрую, скользкую, ледяную, прижать к своему раскаленному телу и взять, прямо там, в реке, на камнях, на глазах у всех, потому что мне насрать, потому что она моя, потому что мое тело орало и рвалось из кожи, и волк внутри, дохлый, запечатанный, замурованный на тысячу лет, ворочался и скулил, и его скулеж был моим скулежом, и его голод - моим голодом.

Она зачерпнула воды и плеснула себе на плечи, и ее серебристые волосы хлынули вперед тяжелой волной, прилипли к мокрым плечам, свесились до воды, касаясь поверхности

кончиками, и река подхватила их, потянула, заиграла ими, как играет с добычей, обнажив спину - тонкую, с выступающими позвонками, каждый из которых я мог бы пересчитать языком, если бы мой язык умел считать, а не только рвать и лизать. Вода стекала по ее лопаткам, по впадинке вдоль позвоночника, по пояснице, по ягодицам - маленьким, узким, с ямочками по бокам, и каждая капля, бегущая по ее коже, бесила меня так, что хотелось слизать их все, каждую, одну за другой, пока на ней не останется ничего, кроме моей слюны и моего запаха.

Я хотел ее. Так, как волк хочет добычу - не мозгом, не сердцем, не какой-то человеческой дрянью вроде чувств или привязанности, а телом, мышцами, костями, зубами, каждой клеткой, которая вопила и рвалась и требовала, и от этого хотения скулы сводило до боли, и пальцы сжимались в кулаки, и ногти протыкали ладони, и кровь текла по пальцам, горячая и бесполезная.

Но я знал. Знал то, что мое тело не хотело знать, то, что волк внутри отказывался признавать, - если я ее возьму, я ее сломаю. Раздавлю. Размозжу. Она - маленькая, хрупкая, с костями, которые я перешибу одним движением, с кожей, которая лопнет под моими пальцами, с телом, которое весит меньше, чем моя нога. Я в ней - это как бревно в птичьем гнезде. Не войду - разнесу. Не трахну - убью. И потом буду лежать рядом с мертвой, пропитанной моим запахом, и скулить, потому что сломал единственную вещь, которую не хо-

тел ломать, единственную из тысяч и тысяч вещей, которые ломал не задумываясь.

Кулак врезался в скалу. Камень треснул, костяшки тоже, кровь брызнула на серый мох, и боль прошла руку от пальцев до плеча, яркая, чистая, отрезвляющая. Хорошо. Боль - это хорошо. Боль вышибает похоть, как вода вышибает огонь, на секунду, на две, и в этих двух секундах можно вдохнуть и напомнить себе: ты не зверь. Нет, вру. Ты зверь. Но ты зверь, у которого хватит мозгов не сломать свою игрушку.

Я ушел. Развернулся и ушел от утеса, прежде чем инстинкт снова возьмет верх над рассудком, прежде чем ноги понесут меня вниз, к реке, к ней, мокрой и голой и дрожащей, с моими синяками на бедрах и моими укусами на шее, к той, которую я хочу так, что кости трещат и зубы крошатся.

Бил стену в своей комнате. Долго. Оба кулака в кровь. Камень крошился, летел осколками, впивался в лицо, в грудь. Я бил и бил, и с каждым ударом перед глазами стояла она - мокрая, серебристые волосы прилипли к спине, вода на ключицах, соски, сжавшиеся от холода, позвонки, которые можно пересчитать, и мои отметины на ее белой коже, мои подписи, мои клейма, мои.

Шаран бы сказал: трахни и успокойся. Шаран, где бы он ни был, сказал бы именно это, потому что Шаран всегда все упрощал до животного уровня: хочешь - бери, не хочешь - бросай, и нехрен забивать голову тем, что можно решить членом. Но Шаран не видел, как она поет. Шаран не чув-

ствовал, как она вцепляется в его руки и не отпускает. Шаран не просыпался ночами от ее запаха, проникающего через три этажа камня, как яд, как отравка, как то, от чего нет противоядия.

Ночью я спустился.

Она спала в моей шкуре, свернувшись клубком, как щенок, и пахла рекой и чистотой и собой - льном, травой, и тем третьим, безымянным, от которого у меня волосы вставали дыбом на загривке, хотя загривок был человеческий и волос там не было. Я стоял над ней, и мое дыхание было рваным и хриплым, и руки дрожали, и между ног ныло так, что хотелось выть.

Я нагнулся. Схватил ее за плечо, перевернул на спину. Она проснулась - вздрогнула, задохнулась, ее руки взлетели, нащупали мои предплечья и вцепились, как всегда, как каждый раз, этот ее чертов рефлекс - хвататься, вцепляться, не отпускать. Я навис над ней, уперев руки по обе стороны ее головы, и мое тело горело, и она подо мной была маленькой и теплой и пахла речной водой, и я опустил лицо ей в шею и вдохнул, глубоко, жадно, до ломоты в легких, и ее запах ударил в мозг, как кувалда, и я зарычал, глухо, утробно, от невозможности взять и от невозможности уйти.

Обнюхал ее. Всю. Шею, ключицы, грудь через тонкую рубашку, живот, бедра. Рубашка задралась, моя морда - нет, лицо, ебучее лицо, не морда - прижалось к ее животу, горячему, мягкому, с тонкой кожей, под которой билась жилка, и я

лизнул, один раз, длинно, по ребрам до пупка, и она выгнулась подо мной, и она издала звук, тонкий, задушенный, от которого мои зубы сами сомкнулись на коже ее бедра, не до крови, но до красных вмятин, до звука, похожего на всхлип, от которого меня выгнуло дугой и я отпрянул, отдернулся, встал на колени, стоял над ней и тяжело дышал, и руки тряслись, и между ног пульсировало болью и желанием, и я ненавидел ее за это, ненавидел себя, ненавидел эту клетку из костей и мышц и кожи, в которой был заперт, ненавидел ее хрупкость, которая не давала мне взять то, что принадлежало мне по праву зверя, все было неправильным, не тем, не так.

Она лежала подо мной, и ее дыхание было частым и рваным, и ее пальцы все еще впивались в мои предплечья, и я чувствовал, как колотится ее сердце - быстро, испуганно, но не так, как бьется сердце жертвы, нет, иначе, с какой-то отчаянной, жадной нотой, как будто оно не убегало от меня, а бежало ко мне, и от этого осознания у меня помутилось в голове.

Я ушел. Поднялся, развернулся, ушел. Не побежал - заставил себя идти, шаг за шагом, двадцать три ступени, и на каждой хотелось вернуться, и на каждой я вбивал когти в ладони, чтобы боль перебила все остальное, чтобы кровь на пальцах напомнила: ты сломаешь ее, ты раздавишь ее, ты убьешь ее, и тогда не станет ни запаха, ни голоса, ни рук, вцепившихся в твои предплечья, ничего, пустота, навсегда.

Стоял у бойницы, упершись окровавленными кулаками в каменный подоконник, и смотрел на серое небо, затянутое тучами, как рана, затянутая коркой. Дышал через стиснутые зубы, и воздух входил со свистом и выходил с хрипом, и ее запах все еще жил в моих ноздрях - речная вода, лен, трава и соль ее кожи, которую я лизнул, один-единственный раз, и этот вкус въелся в мой язык, как клеймо, как ожог, как приговор.

Ждал, пока отпустит.

Не отпускало. Ни через час. Ни через два. Ни через целый долбаный день, который я провел, ломая тренировочные чу-чела голыми руками, пока от них не остались щепки и обрывки кожи, а мои ладони превратились в кровавое месиво.

Утром Клык поднялся ко мне. Встал в дверях, опустил голову.

- Караван, - сказал он. На нашем языке - один рык с щелчком на конце. - С юга. Торговцы. Везут мясо.

Караван. Работоторговцы. Обычное дело - приезжали два-три раза в год, привозили рабов, увозили шкуры и руду. Мне было насрать на караваны, как было насрать на все, что не касалось ее запаха и моего безумия.

Но Клык стоял в дверях и не уходил, и его сердце стучало чуть быстрее обычного, и в его глазах, желтых, старых, видавших все на свете, было что-то, похожее на беспокойство.

- Что еще? - рыкнул я.

- Среди товара - рыжая, - сказал Клык. - Красивая. Челю-

вечья самка. Торговец говорит - для тебя. Специально вез. Говорит, ты оценишь.

Я оскалился. Торговец, который везет мне подарок. Торговец, который думает, что знает, что мне нужно. Торговец, которому, видимо, надоели обе руки, и он ищет повод от них избавиться.

Я спустился во двор. Солнце едва пробивалось сквозь тучи, и крепость тонула в сером свете, и караван стоял у ворот, три повозки, запряженные волами, и торговец - толстый, потный, с маслянистой улыбкой и запахом жадности, который я чуял за двадцать шагов.

Рядом с повозкой стояла рыжая. Высокая, крепкая, с медными волосами и зелеными глазами, и она смотрела на меня - не вниз, не в сторону, прямо на меня, без страха, без подбострастия, с оценивающим прищуром бабы, которая знает себе цену и прикидывает, сколько можно выручить.

Мне было на нее насрать так же, как на караван, на торговца и на серое небо над головой. Мне было насрать на всех баб во вселенной, кроме одной - маленькой, слепой, с серебристыми волосами и моими синяками на бедрах, которая сейчас, наверное, сидела на кухне и считала свои проклятые шаги.

Но торговец уже шел ко мне, расплываясь в улыбке, и его маслянистый голос уже тек, как жир по подбородку, обволакивая, липкий и тошнотворный.

Рыжая шла за ним, и ее бедра качались под юбкой, и она

знала, что я смотрю, и выгибала спину, и улыбалась, и все это было настолько очевидно и настолько мне безразлично, что я чуть не рассмеялся, если бы умел смеяться. Человечьи самки и их ритуалы соблазнения - жалкие, как пляска мотылька перед костром, который его сожжет.

Торговец остановился передо мной. Поклонился. Жирная шея блестела от пота. Его глаза забегали - по моим рукам, разбитым в кровь, по моему лицу, по шраму, от которого людям становилось дурно. Он боялся, но жадность была сильнее страха, и он заговорил, и его человечьи слова были приторными и скользкими, как гнилой мед.

И то, что он сказал, изменило все.

Глава 6

Торговец сказал: "Продай мне слепую."

Он произнес это на человеческом языке, громко, уверенно, с улыбкой, от которой воняло прокисшим вином и жадностью, и его маслянистые глазки бегали по моему лицу, выискивая щель, в которую можно просунуть монету. Толстый, потный, в засаленной кожаной куртке, с пальцами, униженными дешевыми кольцами, которые позеленели от пота, - типичный крысиный выродок, которых я видел тысячи за тысячу лет и которых давил, как клопов, не задумываясь и не запоминая.

- Слепая стоит ноль, - продолжал он, и его голос стал вкрадчивым, доверительным, как у сводника, который предлагает товар из-под полы. - Ноль, Вожак. Она жрет, занимает место, не работает. Мертвый груз. А я дам за нее троих зрячих, молодых, здоровых, рабочих. Три за одну. Где ты видел такую сделку?

Он улыбнулся шире, обнажив желтые, гнилые зубы, и его глазки заблестели с алчностью скупщика, который думает, что нашел дурака, готового продать золото по цене глины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.